



А. В. ЧАЯНОВ



А. В.
ЧАЯНОВ





Д. Яков

—♦♦ ИЗ НАСЛЕДИЯ ♦♦—

**А. В.
Чаянов**

**ВЕНЕЦИАНСКОЕ
ЗЕРКАЛО**

Повести

—♦♦ ————— ♦♦—

МОСКВА
«Современник» 1989

ББК 84Р7
Ч-32

Общественная редакционная коллегия:

ЗАЛЫГИН С. П. — председатель

*АСАНОВ Л. Н., БЕЛОВ В. И., ДЕМЕНТЬЕВ В. В.,
КУЗНЕЦОВ Ф. Ф., ЛИХАЧЕВ Д. С., ЛОМУНОВ К. Н.,
ПАЛИЕВСКИЙ П. В., РАСПУТИН В. Г., ФРОЛОВ Л. А.*

Составление, вступительная статья
и примечания *В. Б. Муравьева*

Чаянов А. В.

Ч-32 Венецианское зеркало: Повести/Вступ. статья и
примеч. *В. Б. Муравьева.* — М.: Современник, 1989. —
236 с., портр. — (Из наследия).

Известный советский ученый-экономист с мировым именем, автор трудов по истории науки, истории Москвы, искусствоведению, *А. В. Чаянов* (1888—1937) был еще и оригинальным писателем-беллетристом. Цикл предлагаемых читателю повестей являет собою цепь увлекательных, остро сюжетных романтических историй о Москве начала XIX века и в этом смысле наследует творческие концепции *Пушкина, Одоевского, Вельтмана.*

Ч $\frac{4702010200-064}{M106(03)-89}$ 115—89
ISBN 5-270-00465-8

ББК 84Р7

Творец московской гофманиады

Александр Васильевич Чайнов родился в Москве 17 (29) января 1888 года. Его отец — Василий Иванович — по происхождению крестьянин Владимирской губернии, мальчиком пошел работать на ткацкую фабрику в Иваново-Вознесенске. С течением времени стал компаньоном хозяина, затем открыл собственное дело. Видимо, Василий Иванович обладал незаурядными организаторскими способностями и интерес к организации производства передал сыну. Мать — Елена Константиновна Клепикова — происходила из мещан города Вятки, из культурной семьи, где вполне понимали необходимость образования. Она была в первой группе женщин, допущенных к учебе в Петровской земледельческой и лесной академии в Москве, и окончила ее.

Детство и школьные годы А. В. Чайнова прошли в старом московском районе — в бывшей Огородной слободе, возле знаменитой церкви Харитонья в Огородниках, в Малом Харитоньевском переулке (ныне ул. Грибоедова, 7). При упоминании этого адреса, конечно, сразу же вспоминаются строки из «Евгения Онегина» о приезде в Москву Татьяны Лариной.

Дом, который московское предание называло «домик Лариных», стоял напротив дома, в котором жили Чайновы, и был виден из их окон. Он оставался таким же, каким был в пушкинские времена и каким увидела его Татьяна.

В то время, когда Чайновы поселились в Малом Харитоньевском, было уже известно, что дом, в котором они живут, построен на территории бывшего владения Пушкиных, которое принадлежало с 1798 года бабке А. С. Пушкина Ольге Васильевне, здесь жили в начале XIX века дядя поэта Василий Львович и тетка Анна Львовна. В годы детства А. С. Пушкина его родители также жили в этих местах.

Вообще эпоха конца XVIII — начала XIX века оставила здесь много воспоминаний, тут жили или бывали Карамзин и И. И. Дмитриев, Херасков и князь Н. Б. Юсупов, к которому Пушкин обращался с посланием «К вельможе», создав в нем яркий образ просвещенного мудреца «века Екатерины».

Тут же, наискосок, стоял в чайновские времена скромный деревянный домик с мезонином в три окна, с палисадником, садом и сараями, при-

надлежавший отцу художника П. А. Федотова, здесь же родился и художник. По его словам, героев в сюжеты своих картин, «быт московского купечества» он черпал из «детских впечатлений», из наблюдений, «сделанных... при самом начале моей жизни». И в память А. С. Пушкина также сильно врезались ранние детские впечатления от жизни в Харитоньевском переулке, от сада Юсупова, описание которого он начинает словами: «В начале жизни школу помню я...»

Чаянов получил хорошее первоначальное домашнее образование, с детства владел основными европейскими языками, в доме была богатая и разнообразная библиотека. На развитие его литературных, эстетических вкусов решающее влияние оказала мать. Область занятий его двоюродного брата, библиографа, коллекционера, в будущем главного библиографа Библиотеки имени В. И. Ленина, С. А. Клепикова, с которым А. В. Чаянова связывала многолетняя дружба, может дать представление о широте интересов чаяновского круга.

Впоследствии эстетические впечатления первоначальных детских лет и ставшие ему известными тогда исторические предания будут постоянно привлекать его и наконец отобразятся в литературных, искусствоведческих, исторических занятиях Чаянова. Но в годы детства и отрочества он находится под сильнейшим влиянием и другой стихии, других традиций общественных идеалов шестидесятых годов. Семья Чаяновых была достаточно типичной разночинной интеллигентской семьей — без прямых связей с революционной средой, но духовно исповедывающей народничество. Среди этого круга особенной симпатией пользовалась Петровская земледельческая и лесная академия. Первый директор академии Н. И. Железнов в речи на торжественном открытии академии в 1865 году сказал, что она является учебным заведением, в котором бы «каждый молодой человек мог получить высшее хозяйственное образование, готовился принять участие в одном из важных общественных стремлений — в увеличении вещественного благосостояния нашего отечества». По своему составу Петровская академия была самым демократическим учебным заведением России. Один из студентов академии В. А. Анзимилов рассказывает об атмосфере, царившей в ней: «Петровская академия не давала ни чиновной, ни денежной карьеры. Лучшим в ней элементом были те из окончивших среднюю школу, которые шли сюда или ради ее революционной репутации, или для изучения естественно-исторических и общественных наук... Общественность петровцев, их сомкнутость, товарищеский дух, большая начитанность, объясняемая подбором поступавших, отсутствием каких-либо соблазнов и развлечений в Петровско-Разумовском, — выделяли их из студентов других заведений».

Чаянову родителями была предопределена практическая деятельность «в увеличении вещественного благосостояния нашего отечества», поэтому

его отдали учиться не в гимназию, а в частное реальное училище К. П. Воскресенского на Мясницкой улице — одно из лучших московских реальных училищ. По окончании его в 1906 году он поступил в Петровскую академию, которая в то время официально именовалась Московским сельскохозяйственным институтом, но, по традиции, ее называли в Москве по-прежнему. На решение Чаянова поступить в Петровскую академию повлияла, видимо, и семейная традиция: кроме матери, среди родственников со стороны отца также были агрономы. Но его выбор был сделан совершенно сознательно, и ни о каком давлении со стороны родителей не может быть и речи. Чаянов принадлежал к той части студенчества, которая шла в академию «для изучения естественно-исторических и общественных наук».

В студенческие годы, причем довольно рано — на втором курсе — у Чаянова определились его научные интересы и направление деятельности, он глубоко и серьезно занялся общественной агрономией. Под руководством таких выдающихся ученых, как А. Ф. Фортунатов, Н. Н. Худяков, Д. Н. Прянишников, он осваивает весь цикл практических знаний (о тщательности экспериментальной работы в лаборатории профессора Н. Н. Худякова он рассказывает в воспоминаниях о нем) и одновременно приступает к самостоятельной научной работе в студенческом кружке. Много лет спустя академик Д. Н. Прянишников напишет в своих воспоминаниях об этом времени: «Помимо обязательных работ, студенты охотно занимались в кружках, число которых достигло 20. В этих кружках выявились способные работники, и многие из них стали впоследствии видными профессорами: Вавилов, Чаянов, Минин, Якушкин и др.»

Кружок общественной агрономии (КОА), в который входил Чаянов, ставил своей целью «содействие своим членам в изучении агрономического обществоведения и методов общественно-агрономической работы в целях подготовки их к общественной деятельности в области агрономии». «Здесь, в обстановке самостоятельных докладов и прений на собраниях Кружка, — рассказывает автор исторического очерка о КОА Э. Петри, — вырабатывались и оформлялись взгляды впоследствии ставших известными первых членов КОА А. Н. Минина и Чаянова, взгляды и мировоззрение, вылившиеся в построение кооперативного идеала и новой теории крестьянского хозяйства, организационно-производственной».

О справедливости для своего времени и практической ценности для нашего выводов, идей и теорий организационно-производственной школы Чаянова, названного академиком, президентом ВАСХНИЛ А. А. Никоновым ее «блестящим представителем и фактическим лидером», уже написано специалистами в специальной и массовой печати достаточно много. Здесь отметим лишь одну сторону теории и практических рекомендаций Чаянова: он исходил в них из тщательного изучения и глубоко уважения

объективных внутренних законов существования и деятельности крестьянского хозяйства. Они преследовали одну-единственную цель — помочь более эффективному проявлению заложенных в самой природе крестьянского хозяйства его сильных, положительных, перспективных тенденций. Чайнов отрицал сам принцип попыток насилия над объективными законами, которое, стремясь опровергнуть естественный закон и навязать свои правила, как говорит здравый смысл и показывает практика, может разрушить, уничтожить организм, но не заставить его полноценно развиваться по чуждым ему, навязанным извне узаконениям, как бы те ни казались на сторонний взгляд логичны, красивы и благодетельны.

О направлениях своих интересов в студенческие годы Чайнов рассказывал в автобиографических строках написанной в 1919—1920 годах повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Герой повести, в котором легко узнаются черты автора, вспоминает свои посещения знаменитого книжного развала у Китайгородской стены: «Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом много лет тому назад, купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те многие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах Шибановского антиквариата...»

Собственно, всем этим направлениям своих интересов — к общественным проблемам, изобразительному искусству, истории и литературе — он оставался верен всю жизнь. Правда, вернее было бы говорить не об интересах и направлениях, а о едином направлении общественной и научной деятельности Чайнова, в которой они сливались, в которой искусство являлось также методом познания, а познание становилось искусством.

Вопрос о соотношении научного и художественного познания неизменно вставал перед учеными, подходившими к глобальным проблемам. Современник Чайнова, выдающийся естествоиспытатель, поэт, художник, А. Л. Чижевский, которому коллеги заявляли, что «настоящий ученый стишков не сочиняет», писал в одном из стихотворений, отвечая на упреки:

...поэзия в пустой войне с наукой;
По сути же у них — единый корень;
Познание же, друзья, вмещает все в себе:
Материю и дух — в единстве и борьбе...

Для Чайнова такого противопоставления не существовало, более того, научное и художественное познание, научную и практическую деятельность он объединял в одном понятии — искусство.

В «Путешествии моего брата Алексея...» на вопрос: «...вы, главковерхи духовной жизни и общественности, кто вы: авгуры или фанатики долга? какими идеями стимулировалась ваша работа над созданием сего крестьянского эдема?» — Алексей Кремнев получает такой ответ одного из главных создателей и организаторов описанного в повести будущего идеального общества А. А. Минина (прообразом которого является ближайший друг и единомышленник Чайнова А. Н. Минин):

« — Несчастный вы человек! — воскликнул Алексей Александрович, выпрямляясь во весь рост. — Чем стимулируется наша работа и тысячи нам подобных? Спросите Скрябина, что стимулировало его к созданию «Прометей», что заставило Рембрандта создать его сказочные видения! Искры Прометеева огня творчества, мистер Чарли! Вы хотите знать, кто мы — авгуры или фанатики долга? Ни те и ни другие — мы люди искусства».

Коллекционируя произведения изобразительного искусства — иконы, позже гравюры, Чайнов не ограничивается собирательством (по правде говоря, он никогда и не располагал для этого большими средствами), но изучает историю искусства, а также историю и психологию коллекционирования. По этим вопросам им опубликован ряд работ: «Московские собрания картин сто лет назад» (1917), статьи в журнале «Среди коллекционеров» (1920-е гг.), брошюра «Старая западная гравюра» (1926). Кроме того, он сам гравюрует. П. Эттингер в статье «О мелочах гравюры» (1924) сообщает: «Профессор А. В. Чайнов, ради отдыха от научных занятий занявшийся гравюрой по дереву, в прошлом году из Гейдельберга прислал от руки раскрашенную своеобразную ксилографию, оповещавшую о появлении на свет его сына Никиты». Имеются сведения, что в юности Чайнов посещал Рисовальные классы К. Ф. Юона.

Библиотека Чайнова принадлежала к числу замечательных московских частных собраний. Особенно богато в ней был представлен раздел книг о Москве. В предисловии к исследованию «Театр Мадокса в Москве. 1776—1805» (1927) его жены О. Э. Чайновой в числе источников и пособий называется «обширная библиотека по старой Москве проф. А. В. Чайнова, бывшая в нашем распоряжении».

Москва — ее история и градостроительные проблемы — другая большая и серьезная область постоянных и серьезных занятий Чайнова. «Московские собрания картин сто лет назад», «История Миюсской площади» (1918), «Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем» (1925) — таковы опубликованные москвоведческие работы Чайнова. В обществе «Старая Москва», членом которого он был, им сделаны доклады «Опыт построения ситуационного плана Москвы XVII века», «Опыт построения ситуационного плана Москвы XV века», «Топография Москвы XIII и XIV веков», «О поварях Английского клуба», «Московская ти-

пография XVIII века». Курсы по истории и топографии Москвы он читал в университете имени Шанявского и Московском университете. Кроме того, он занимался археологическими раскопками в окрестностях Москвы. Московской области посвящены также его некоторые экономические работы. Большое место занимает Москва в беллетристических произведениях Чайнова.

Литературная одаренность Чайнова проявилась буквально во всем, что он писал. В его экономических работах многие страницы представляют собой страстную, образную публицистику. В искусствоведческих трудах вдруг обнаруживаются такие детали и черточки, которые, собственно, к искусствоведению, к теории не имеют отношения, но зато живо воссоздают конкретный быт эпохи, ее аромат. Краеведческие, москвоведческие сочинения Чайнова также своеобразны: в них, как положено, много фактического, исторического материала, он скрупулезно анализирует сухой, специфический краеведческий материал: статистику, карты и планы, но при всем богатстве, разнородности информации, содержащейся в каждой работе, он создает целостный художественный, эмоциональный образ того района Москвы, о котором пишет. В очерке «История Миусской площади» на строго научной основе прослеживается история топографии площади, но наряду с этим Чайнов обращается к легендарным сведениям. А. Мартынов в книге «Названия московских улиц и переулков с историческими объяснениями» (1888) высказал соображение, вернее, задал вопрос, не было ли связано название площади с именем разинского атамана Миуски: «...не был ли он казнен на той площади, которая носит это название?» «Мы не беремся судить, — пишет Чайнов, — какое отношение исторический Миуска имел к нашей площади, но мартыновского указания достаточно для того, чтобы тень легендарного Миуски носилась в аудиториях университета Шанявского и связывала его с вольницей Степана Тимофеевича Разина». Чайнову ясна историческая несостоятельность этой версии, но тем не менее именно легенда становится художественной и композиционной основой работы: она связывает прошлое с современностью и ставит яркий эмоциональный акцент на всем повествовании. Но что еще более необычно для научного исследования, в нем создан образ автора: сначала читатель ощущает его присутствие по отдельным замечаниям по ходу рассказа, а когда уже сложилось определенное представление, в заключительном абзаце появляется он сам: «В 1915 году часть площади перед университетом Шанявского переименовывается в «Улицу 19-го февраля». С этого момента для площади начинается ее современность, и случайный историк кладет свое перо».

Образ «случайного историка» возник здесь закономерно, из внутренней необходимости несколько необычной формы чайновского научного исследования, присутствия в нем художественного, беллетристического эле-

мента. Отметим еще, что в 1918 году была издана первая повесть Чайнова под псевдонимом «ботаник Х.» «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.».

Писательский путь Чайнова, в отличие от научного, служебного и общественного, не может быть пока из-за отсутствия многих сведений освещен последовательно и достаточно полно, однако основные его вехи мы наметить можем.

Писать Чайнов начал, видимо, в реальном училище, С. А. Клепиков вспоминал о его пьесе, написанной тогда. Сильный стимул к литературному творчеству Чайнов получил, поступив в Петровскую академию.

В Петровской академии любовь к литературе была традиционной, из среды петровцев вышло немало литераторов: В. Г. Короленко, М. М. Пришвин, И. А. Новиков и другие. Тесные связи с литераторами были у профессоров академии Н. Н. Худякова, А. Ф. Фортунатова.

Особую восприимчивость петровцев к литературе отмечал профессор-литературовед А. Я. Цинговатов, преподававший в первые послереволюционные годы на рабфаке Петровки. Он сравнивал учащихся разных учебных заведений: «В Разумовском аудитория оказалась наиболее чуткой в художественном отношении, наиболее эстетически-эмоциональной (вероятно, сказалось преобладание крестьянства). Предмет мой — новая и новейшая русская литература — вызывал единодушный интерес... Диапазон художественной впечатлительности и восприимчивости у аудитории оказался огромный: из Блока, например, увлекли аудиторию не только «Двенадцать» и не только «Скифы» — но и «Прекрасная Дама» оказалась не пустым звуком, и «Соловьиный сад» очаровал многих».

В годы пребывания в Петровской академии Чайнов входит, как сообщает он сам, в один из московских литературных кружков (к сожалению, неизвестен его состав) и, видимо, тогда начинает писать серьезно.

В 1912 году он издал тоненький сборник стихотворений «Лелина книжка». Это было его первое выступление в печати как беллетриста (к тому времени им уже было опубликовано около полутора десятков специальных научных работ: «Кооперация в сельском хозяйстве Италии», «Письма из сельскохозяйственной Бельгии», «Участковая агрономия и организационный план крестьянского хозяйства», «Некоторые данные о значении культуры картофеля в крестьянском хозяйстве нечерноземной России» и др.).

Наиболее ранние стихи в «Лелиной книжке» относятся к 1908 году, в основном — любовная лирика, изящные и ироничные стилизации. Стихи в достаточной степени подражательны, явна их связь со стилизациями Андрея Белого из «Золота в лазури», с поэмами Игоря Северянина, но в то же время в них виден и определенный собственный литературный опыт.

Герои стихов Чайнова — «милая Альвина» и влюбленный в нее студент-петровец:

Сегодня, милая Альвина,
 Жасмина отцветает куст,
 На завтрак с молоком малина
 Припасена для ваших уст.

 Итак, начнем: в саду Альвина
 Из лейки клумбы георгина
 Свежит дождёвою водой,
 Ее поклонник молодой —
 Студент-петровец на бумажке
 Строчит стихи в честь именин
 Альвины. На его фуражке
 Горит пунцовый георгин.

В некоторых стихах воспевается Петровско-Разумовское:

Люблю про подвиги Патрокла
 В Петровке осенью читать,
 Глядя на вышуклые стекла,
 Вдвоем с Альвиной замышлять
 Разнообразные прогулки
 И, чтоб Альвине поднести,
 Из листьев клёновых плести
 Венки. Забраться в закоулки
 Академического сада
 И под покровом листопада,
 Под звон осенних аллилуй
 Сорвать украдкой поцелуй.

«Лелину книжку» Чайнов послал В. Я. Брюсову («Только Вам», — написал он в сопроводительном письме, что, безусловно, говорит об особом отношении Чайнова к Брюсову). Отзыв Брюсова (на конверте письма Чайнова его помета: «Отвечено») был, видимо, весьма критичен, так как никаких следов продолжения переписки в архиве Брюсова не обнаружено.

В дальнейшем в литературном творчестве Чайнова основное место заняла проза. В 1918—1928 годах он напечатал шесть повестей: «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.» (1918), «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920), «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1922), «Венецианское зеркало, или Удивительные похождения стеклянного человека» (1923), «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям» (1924), «Юлия, или Встречи под Новодевичьим» (1928). Все они, кроме «Путешествия моего брата Алексея...», выходили в издании автора.

Действие «Истории парикмахерской куклы» и «Венецианского зеркала» происходит в начале XX века. «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» переносит читателя на шестьдесят лет вперед, в 1984 год, события, описанные в остальных повестях, относятся к концу XVIII — началу XIX века.

Таким образом повести Чайнова, изображая прошлое, настоящее и будущее, охватывают два столетия, но при этом нельзя не заметить, что в образах и характерах их героев много сходного, хотя в то же время про графа Федора Михайловича Бутурлина не скажешь, что он человек начала XX века, а архитектора М. никак не могло быть в конце XVIII.

Эта особенность объяснима, с одной стороны, взглядом автора на темы эволюции человека как биологического вида. «Политический опыт многих столетий, к сожалению, учит нас тому, что человеческая природа всегда почти остается человеческой природой, смягчение нравов идет со скоростью геологических процессов...» — в «Путешествии моего брата Алексея...» говорит А. А. Минин, выражая и мнение автора — Чайнова.

Но другой и, как нам представляется, не менее важной причиной этой особенности является принадлежность повестей Чайнова к определенному мироощущению — к романтизму.

«В теснейшем и существеннейшем своем значении,— писал В. Г. Белинский,— романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма; чувство, любовь есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек — романтик». Далее Белинский развивает это положение: «Романтизм не принадлежит исключительно одной только сфере любви... Сфера его, как мы сказали,— вся внутренняя, душевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному».

Таким образом, романтизм и как литературное направление не может быть прикреплен к одному какому-нибудь времени, он сопровождает человечество во все эпохи его развития.

Свои повести Чайнов относил к жанру романтических, снабжая их определяющим подзаголовком — «романтическая повесть, написанная ботаником X.».

«Нашей задачей являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно было построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе никаких пут... Всегда нашим конечным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, интегральная человеческая личность. Все остальное было средством... Весь социальный прогресс только в том и заключается, что расширяется круг лиц, пьющих из первоисточника культуры и жизни. Нектар и амброзия уже перестали

быть пищей только олимпийцев, они украшают очаги бедных поселян». Эти проблемы и цель, изложенные на страницах «Путешествия моего брата Алексея...» — основа романтизма Чайнова, его «стремления к лучшему и возвышенному», они являются генеральной идеей и его литературного творчества, и научного экономического поиска, и общественной, административной, организаторской деятельности.

Уже в предреволюционные годы Чайнов стал крупнейшим авторитетом в области сельскохозяйственной кооперации и — шире — организации сельского хозяйства. Пропагандируя свою теорию трудового крестьянского хозяйства, он проводит большие полевые исследования, читает лекции в Петровской академии, Московском университете, университете имени Шанявского и других учебных заведениях. Его привлекают для работы и консультаций в соответствующие государственные и общественные органы: Лыпоцентр, «Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу», Лигу аграрных реформ, при Временном правительстве его выдвинули на должность товарища министра земледелия, правда, к работе в этой должности он не успел приступить, так как Временное правительство пало.

В апреле 1917 года, выступая на курсах по подготовке культпросветчиков при Московском Совете студенческих депутатов, Чайнов сказал: «В настоящее время мы стоим перед долгими годами тяжелой и ответственной творческой работы строительства новой России».

После Октябрьской революции деятельность Чайнова приобретает еще большую активность и широту. Кроме продолжающейся преподавательской работы, к которой прибавляется и работа в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, он создает Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной экономики и становится его директором, занимает руководящие посты в кооперации — Центросоюзе, является членом коллегии Наркомата земледелия и представителем его в Госплане, едет советником на Генуэзскую конференцию — первую международную конференцию с участием Советского государства. В рабочей библиотеке В. И. Ленина находились некоторые работы Чайнова, он пользовался ими при написании статьи «О кооперации», также была известна Ленину деятельность Чайнова в Наркомземе — документально подтверждается, что он читал докладную записку Чайнова, имел отношение к утверждению его кандидатуры при назначении в Госплан; кроме того, по воспоминаниям современников (к сожалению, это только устные рассказы), Чайнов лично встречался с Лениным, и его утопическая повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» — единственное художественное произведение, изданное не за счет автора, а государственным издательством — было издано по совету или распоряжению Ленина.

В тяжелейшие годы гражданской войны и экономической разрухи Чайнов верит, что экономические, продовольственные трудности преодолимы, но для этого необходимо, чтобы русский крестьянин участвовал в их преодолении сознательно и добровольно. В книге «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации» (кстати, находившейся в библиотеке В. И. Ленина) он пишет: «Во время Великой французской революции, когда отечество было в опасности, когда государственный аппарат колебался под ударами врагов — народные вожди не раз выбрасывали лозунг: «*Levez les masses!*» («Поднимайте массы!») — и бросали в борьбу стихию народных масс, своей мощью спасавшую положение... В грозный час, когда окажутся бессильными все методы предпринимательства, когда экономический кризис и удары организованного противника будут сметать наши сложные предприятия, для нас возможен единственный верный путь спасения, неизвестный и закрытый капиталистическим организациям, — путь этот: переложить тяжесть удара на плечи того Атланта, которым держится вся наша работа — да, в сущности, и все народное хозяйство нашей Родины — на плечи русского крестьянского хозяйства. Эти плечи смогут выдержать всякую тяжесть, если... если только захотят подставить себя.

А для того, чтобы они не уклонились от тяжести, нужно, чтобы они чувствовали, знали, сжились с тем, что дело крестьянской кооперации — их крестьянское дело, чтобы дело это тоже было действительно мощным социальным движением, а не предприятием только! Нужна кооперативная общественная жизнь, кооперативное общественное мнение, массовый захват крестьянских масс в нашу работу».

На фоне такой интенсивной общественной деятельности пишет Чайнов свои романтические повести.

Не будем пересказывать их содержание и сюжеты, они коротки, стремительны, лаконичны, и любой пересказ неизбежно обеднит и исказит их, ограничимся лишь общей характеристикой. Его повести действительно романтические в классическом понимании этого жанра: над судьбами их персонажей властвуют страсти и случай, жизнь героев полна невероятных приключений, они сражаются с разбойниками и привидениями, попадают в мир сверхъестественных сил.

На первой повести Чайнова «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.» имеется посвящение: «Памяти великого мастера Эрнеста Теодора Амадея Гофмана посвящает свой скромный труд автор». Интересно, что это посвящение стоит на наименее «гофмановской» из всех его повестей, но в то же время оно указывает на истоки литературной традиции, которой следует Чайнов.

Его романтизм идет не впрямую от Гофмана, и даже посвящение ему лишь один из элементов этой традиции.

Существует мнение, что повести Чайнова — стилизация. Это утверждает и статья в «Краткой литературной энциклопедии»: «Чаянову принадлежат пять повестей, умело стилизованных под русскую романтическую прозу и лубочную книжку начала 19 века с элементами пародии». Но пародия на произведения, неизвестные читателю, а именно такими были названные книги начала XIX века в начале XX, просто не имеет смысла.

Повести Чайнова — не подражание сочинениям конца XVIII — начала XIX века, не пародия на них, это — литература XX века. В них мировосприятие и художественная культура, свойственные не тем далеким временам, а первым десятилетиям нашего столетия. Но с романтической литературой того времени, с литературой, в связи с которой Белинский сформулировал свое понимание романтизма, романтизм Чайнова имеет прямую связь — это его генетические корни.

Романтическая проза А. С. Пушкина, В. Ф. Одоевского, А. Погорельского (действие повестей которого «Исидор и Анюта» и «Лефортовская маковница» разворачиваются в том же Лефортове, что и в «Необычайных, но истинных приключениях графа Федора Михайловича Бутурлина» Чайнова, и в описаниях этой местности Чайнов использует детали из описаний Погорельского), а также переизданная в 1913 году, фактически открытая заново и обратившая на себя внимание публики повесть В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском», написанная на сюжет А. С. Пушкина и правленная им — вот истоки и классические образцы романтических повестей Чайнова, из этого русского гофманианства начала XIX века происходит и чайновская гофманиада XX века.

Однако, учитывая влияние на Чайнова классической русской литературы, прекрасным знатоком которой он был, главной чертой его романтических произведений все же является их принадлежность к литературе XX века, к поискам и поэтике писателей-современников. В одной из статей 1911 года В. Я. Брюсов, сетуя на «потоп стихов», писал: «Неужели начинающие поэты не понимают, что теперь, когда техника русского стиха разработана достаточно, когда красивые стихи писать легко, поэтому самому трудно в области стихотворства сделать что-либо свое.

Пишите *прозу*, господа!

В русской прозе еще так много недочетов, в обработке ее еще так много надо сделать, что даже с небольшими силами здесь можно быть полезным». Совершенно ясно, что Брюсов имел в виду не русскую прозу вообще, а определенное ее направление — прозу модерна, прозу символизма, прозу «новой литературы» (термины очень приблизительные, но других нет), то есть направление, к которому он принадлежал сам и над созданием прозы которого много работал.

Литературное творчество Чайнова развивалось в том же — брюсовском — направлении. Брюсов, М. Кузмин, Б. Садовский, П. Муратов — особенно их историко-фантастическая проза — вот ряд, в котором нужно рассматривать творчество Чайнова. Впоследствии к ним прибавляются А. Н. Толстой, Е. Замятин, Л. Леонов (с его «Деревянной королевой»). Несомненно также решающее влияние прозы Брюсова на те повести Чайнова, действие которых происходит в современности.

Для прозы Чайнова характерно сочетание реализма и фантастики, это какая-то документальная фантастика.

Исторический фон повестей Чайнова необычайно точен: это относится к топографии Москвы, к названиям церквей и общественных зданий, к реальности маршрутов блужданий фантастических героев повестей по столице и к именам исторических личностей того времени: артистов, профессоров, вельмож и трактирщиков. Про большинство описанных Чайновым мест, как в России, так и за границей, известно, что он там бывал, жил, так что в основе описаний лежат личные впечатления. И в этом исторически достоверном мире разворачиваются фантастические события.

Так же реален и мир будущего, изображенный в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Про эту повесть прежде всего надо сказать, что утопия эта — социалистическая, она рассказывает о будущем социалистическом обществе, прошедшем в своем развитии трудный, противоречивый путь, но пришедшем не к крушению, а к утверждению социализма. При публикации повесть предваряло предисловие В. В. Воровского, в котором он критиковал «идеалы наших кооператоров», даже называл их «реакционными», но тем не менее признавал нужность и ценность сочинения Чайнова. (Воровский в то время был директором Госиздата, где одновременно с повестью печатались экономические работы Чайнова, в предисловии к одной из них Чайнов отмечает «энергичную поддержку Государственного издательства».)

В заключение предисловия Воровский пишет: «Но, может быть, спросят: если вы такой противник этой утопии, зачем же вы печатаете и распространяете ее? А вот зачем: эта утопия — явление естественное, неизбежное и интересное. Россия — страна преимущественно крестьянская. В революции крестьянство в общем идет за пролетариатом, как более развитым политически и более организованным собратом... В этой борьбе будут возникать разные теории крестьянского социализма, разные утопии. Одной из таких утопий и является печатаемая ниже. Она имеет те преимущества, что написана образованным, вдумчивым человеком, который, приукрашивая, как все утописты, воображаемое будущее, дает в основе ценный материал для изучения этой идеологии. Он пишет искренно то, во что верит и чего желает; это придает его утопии беспорный интерес».

Сейчас, когда мы уже пережили тот временной рубеж, который был для Чайнова будущим — 1984 год — и знаем, что эра крестьянского кооперативного социализма не наступила, поражают многие частные его предсказания: путь развития советского изобразительного искусства — с его «лакировочным» реализмом, с «суровым стилем», увиденная героем повести в 1984 году картина «под Брейгеля-старшего» — «та же композиция с высоким горизонтом... те же коротенькие фигурки, но... на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и, несомненно, сюжетом служило что-то вроде отлета аэропланов» — словно является описанием какой-то картины, какие мы увидели в восьмидесятых годах в наших выставочных залах; много верного угадано в реконструкции Москвы и т. д.

В двадцатые годы про повести Чайнова критика не писала, им посвящены лишь несколько библиографических заметок. Складывается впечатление, что они вообще были вне литературной жизни своего времени. Однако первое же в критической, вернее, уже в литературоведческой литературе свидетельство о влиянии Чайнова на современную литературу, появившееся в статье М. Чудаковой «Условие существования» (В мире книг, 1974, № 12), посвященной библиотеке М. А. Булгакова, дает повод для любопытных и далеко идущих сопоставлений и размышлений. «Еще одна книга, изданная в том же 1922 году и, возможно, тогда же купленная, — пишет Чудакова, — долгие годы стояла в библиотеке Булгакова и пользовалась, по словам жены, особенной его любовью». Речь идет о повести Чайнова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». И далее Чудакова говорит: «Призрачность ночных московских улиц», «гнилой московский туман» и беготня героя (повести Чайнова. — В. М.) по этим улицам в дурную погоду — все это близко к атмосфере московских фельетонов-хроник Булгакова начала 20-х годов, а в первом варианте «Театрального романа», начатом и оставленном в 1929 году, можно видеть, кажется, следы влияния иных страничек «Венедиктова». Позже Чудакова также писала, что эта повесть «несомненно стимулировала замыслы и сюжетные ходы и «Мастера и Маргариты», и «Записок покойника».

Отметим еще, что во всех повестях Чайнова действие неизменно связано с Москвой. В 1928 году он так объяснил свой художественный подход к изображению Москвы: «Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его Гофманиаду, некоторое количество своих «домашних дьяволов». Это он написал к предполагаемому, но так и не осуществившемуся изданию сборника своих повестей.

Во второй половине 1920-х годов в стране возобладал волевой, административный подход к решению вопросов переустройства сельского хозяйства, не считавшийся ни с реальностью, ни с рекомендациями

науки. Взгляды Чайнова и его школы были объявлены антимарксистскими. Атмосфера сгущалась. Неудачи, прорывы в промышленности и сельском хозяйстве, неизбежные при невежественном администрировании, все чаще объяснялись вражескими провокациями и вредительством. Начались процессы над «вредителями», на скамью подсудимых попадали крупнейшие специалисты, против них выдвигались фантастические обвинения, и они признавались в не совершенных ими — Чайнов это понимал — преступлениях. Творилась страшная по своей нелепости и неотвратимости фантазмагория. И еще Чайнов понимал, что его обвинителям нет никакого дела ни до логики, ни до фактов, ни до научной истины. Другой великий русский ученый — А. Л. Чижевский в те же годы к старому своему стихотворению, излагающему его идею солнечно-земных связей, приписал новую строфу:

О ты, узревший солнечные пятна
С великолепной дерзостью своей,—
Не ведал ты, как будут мне понятны
И близки твои скорби, Галилей...

Галилеево решение принял и Чайнов: он выступил с признанием своих «ошибок».

В декабре 1929 года в Москве состоялась конференция аграрников-марксистов, на ней прозвучали обвинения Чайнова в том, что он ставит своей задачей реставрацию капитализма в СССР, что его «ни в коей мере нельзя переубедить и заставить мыслить марксистски». Его имя упомянул в своем выступлении Сталин: «Непонятно только, почему антинаучные теории «советских» экономистов типа Чайновых должны иметь свободное хождение в нашей печати...»

21 июля 1930 года Чайнова арестовали. Это произошло в президиуме ВАСХНИЛ в Большом Харитоньевском переулке. Арестованы были и многие его друзья: Н. Д. Кондратьев, А. Н. Минин, Н. П. Макаров, А. А. Рыбников и другие.

Рассказ жены Чайнова Ольги Эммануиловны из ее письма в Президиум XXIII съезда КПСС:

«Его забрали 21 июля 1930 г. на работе в тот момент, когда он подготавливал материал Зернотреста к XV Партсъезду. И хотя, вследствие травмы, которой он подвергался последний год, у него сильно сдала, больная и в спокойном состоянии, нервная система, вместо требуемого отдыха он с неослабевающей энергией и преданностью продолжал свою работу.

О том, что происходило в тюрьме, я могу рассказать только с его слов. Ему было предъявлено обвинение в принадлежности к «трудовой крестьянской партии», о которой не имел ни малейшего понятия. Так он и говорил, пока за допросы не принялся Агранов. Допросы вначале были очень мяг-

кие, «дружественные», иезуитские. Агранов приносил книги из своей библиотеки, потом просил меня передать ему книги из дома, говоря мне, что Чайнов не может жить без книг, разрешил продовольственные передачи и свидания, а потом, когда я уходила, он, пользуясь духовным потрясением Чайнова, тут же устраивал ему очередной допрос.

Принимая «расположение» Агранова к нему за чистую монету, Чайнов дружески объяснял ему, что ни к какой партии он не принадлежал, никаких контрреволюционных действий не предпринимал. Тогда Агранов начал ему показывать одно за другим *тринадцать* показаний его товарищей против него. Я не знаю подробностей обвинения. Знаю только, что кроме обвинения в ТКП повторялась клевета, которую он, опираясь на факты, опроверг будучи еще на воле.

Показания, переданные ему Аграновым, повергли Чайнова в полное отчаяние — ведь на него клеветали люди, которые его знали и которых он знал близко и много лет. Но все же он еще сопротивлялся. Тогда Агранов его спросил: «Александр Васильевич, есть ли у вас кто-нибудь из товарищей, который, по вашему мнению, не способен солгать?» Чайнов ответил, что есть, и указал на проф. эконом. географии А. А. Рыбникова. Тогда Агранов вынимает из ящика стола показания Рыбникова и дает прочитать Чайнову. Это было последней каплей, которая подточила сопротивление Чайнова. Он начал, как и все другие, писать то, что сочинял Агранов. Так он в свою очередь оговорил и себя.

Когда взамен оставшегося года (он был приговорен к 5 годам тюрьмы) его сослали на 3 года в Алма-Ата, и я приехала к нему туда, он мне рассказал все это.

Будучи аспиранткой в Третьяковской галерее, я проходила там аспирантскую практику, и как-то в ее залах я встретила А. А. Рыбникова. Он подошел ко мне и сказал, что давно хотел меня повидать, чтобы рассказать о своем предательстве, но что у него не хватило на это гражданского мужества. Что он не может себе объяснить, как это случилось, но он оболгал такого честного и чистого человека, как Чайнов, что на следующий же день он написал на имя следователя опровержение своим показаниям, но, по-видимому, это объяснение не было приобщено к делу. (Об этом я писала тов. Вышинскому в 1937 г. Мое заявление, по-видимому, где-то хранится.) Чтобы понять цену показаниям Рыбникова можно только прибавить, что он после приговора был переведен в лечебницу Кащенко, признан психически больным и отдан на руки жене.

Проф. Фабрикант, который в своих показаниях писал дикие небылицы, заболел психически во время следствия и до сих пор находится на учете психдиспансера.

Студенский во время следствия заболел психически и повесился в камере.

А. Н. Минин, который в своих показаниях оклеветал и себя и ближайшего друга **А. В. Чайнова**, передал через жену из лагеря тов. Вышинскому объяснение того, как и почему он давал ложные показания. Кстати, Минина несколько месяцев тому назад реабилитировали.

Проф. Н. П. Макаров в прилагаемой мной характеристике **А. В. Чайнова** пишет, что он оклеветал Чайнова, не выдержав тяжести следствия...»

У сына **А. В. Чайнова** — **Василия Александровича** сохранилась так называемая общая тетрадь в коленкоровом переплете, многие ее пожелтевшие страницы заполнены записями жидкими фиолетовыми чернилами — и не сразу узнаешь в этих лепящихся строчках почерк **А. В. Чайнова**, обычно четкий, характерный. Но это его записи: с одного конца тетради заметки по истории западноевропейской гравюры, с другой — наброски работы «Внутрихозяйственный транспорт. Материалы к пятилетке 1933—37 гг.». Тетрадь заполнялась в камере Бутырской тюрьмы. Может быть, он искал в работе отвлечения от кошмара следствия, может быть, надеялся, что это еще пригодится в будущем...

1—9 марта 1931 года под председательством **Н. М. Шверника** состоялся судебный процесс по делу «контрреволюционной организации «Союзного бюро» ЦК РСДРП (меньшевиков)». Обвинителем выступал прокурор РСФСР **Н. В. Крыленко**. Следствие по группе **Кондратьева** — **Чайнова** формально еще продолжалось, но его результат был уже предрешен.

В обвинительном заключении, представленном суду прокурором, задачи и деятельность «трудовой крестьянской партии» характеризовались как откровенно антисоветские и вредительские. ТКП называлась «кулацко-эсеровской группой **Чайнова** — **Кондратьева**», сообщалось, что «ТКП брала на себя организацию крестьянских восстаний и беспорядков, используя влияние кулацких элементов и колебание известной части середняков в вопросах об отношении к коллективизации сельского хозяйства; работу по снабжению восставших оружием и боевыми припасами и по доставке их в районы предполагаемых восстаний; работу по разложению частей Красной Армии, в особенности направленных для прекращения беспорядков в сельских местностях». Восстание, поддерживаемое иностранной интервенцией, по материалам, полученным следствием, должно было начаться в 1931 году. Говорилось о ТКП и в приговоре (перед вынесением которого **Крыленко** обратился к судьям с призывом: «Я прошу вас проявить максимальную жестокость по отношению к подсудимым»): «...кулацко-эсеровская партия **Кондратьева** — **Чайнова** взяла на себя организацию кулацких восстаний, снабжение повстанцев оружием и продовольствием, организационную контрреволюционную работу среди специалистов сельского хозяйства и вредительство в отраслях этого хозяйства».

По этому процессу члены ТКП в качестве обвиняемых не проходили.

Видимо, готовился специальный большой процесс. По сообщению газеты «Московские новости» от 16 августа 1987 года по делу ТКП было арестовано более тысячи человек, но процесс не состоялся, однако приговоры были вынесены. Чайнов был приговорен к пяти годам тюремного заключения и отправлен в Суздальскую тюрьму.

По воспоминаниям профессора Н. П. Макарова, в Суздальской тюрьме Чайнов мог заниматься и литературной работой: составил кулинарную книгу (наверняка она была с историческим уклоном: вспомним тему его доклада в «Старой Москве» — «О поварах Английского клуба»), написал исторический роман «Юрий Суздальский». Судьба этих рукописей неизвестна.

После четырех лет заключения в тюрьме Чайнов был отправлен в ссылку в Алма-Ату. Там он работал в сельскохозяйственном институте.

О его жизни и настроении некоторое представление может дать письмо С. А. Клепикову от 13 февраля 1936 года. Чайнов пытается шутить, что, мол, «Алма-Ата — это безводная Сахара для коллекционеров», что его «общество составляет кошка и «алма-атинская овчарка по кличке Динго», которую «соседнее население» зовет попросту Зинкой, но за шутками видны и усталость, и тревога. Клепиков прислал ему книги, и Чайнов пишет: «Тебя же прошу не забывать меня книгами, причем прошу поиметь в виду, что я впал в детство (видимо, от старости), из всех газет читаю «Комсомольскую правду» и очень почитаю все издания «Молодой гвардии», а из книг буду тебе безгранично благодарен за Дюма, Жюль Верна, Вальтер Скотта и им подобных. А впрочем, и за все остальное». Заканчивается письмо щемящим признанием: «Прости за легкомысленное послание, но я прямо опух от 12—14 часовой работы каждого дня... и, набрасывая эти строки, отвожу душу».

Осенью 1937 года Чайнов был снова арестован, 3 октября приговорен к расстрелу, в тот же день приговор приведен в исполнение.

Долгие десятилетия в советской экономической литературе имя Чайнова упоминалось лишь с определениями «контрреволюционер», «идеолог кулачества».

По делу 1937 года Чайнов был реабилитирован как незаконно репрессированный в 1956 году, по делу ТКП — «за отсутствием события или состава преступления», то есть было признано, что ТКП является целиком выдумкой следователей, — постановлением Верховного Суда СССР от 16 июля 1987 года.

Президент ВАСХНИЛ академик А. А. Никонов в интервью, данном журналу «Коммунист» (1988, № 1), реабилитацию имени Чайнова и возвращение народу трудов ученых его школы оценил как очень важный факт нашей современности. «Наша аграрная наука, — сказал А. А. Никонов, — за шесть-семь десятилетий прошла сложный и противоречивый

путь. Были такие подъемы, когда к нам в страну перемещались центры мировой науки. Это прежде всего связано с подвижнической деятельностью великого ученого нашего века Николая Ивановича Вавилова и его многочисленных соратников. Это связано с деятельностью блистательного таланта — Александра Васильевича Чаянова и группировавшейся вокруг него когорты выдающихся ученых; среди них Николай Дмитриевич Кондратьев, крупнейший знаток сельскохозяйственного рынка, автор известной теории экономических циклов, называемых в мировой литературе «циклами Кондратьева», Николай Павлович Макаров, Александр Александрович Рыбников, Александр Николаевич Челинцев и многие другие, чьи имена и сегодня с почтением произносят на всех континентах». Запрещение трудов Чаянова, сказал Никонов, «слишком дорого нам обошлось. Практически два поколения были полностью лишены ценнейшего научного наследия». Он говорил и о значении трудов Чаянова для сегодняшнего дня: «Идеи, обоснованные А. В. Чаяновым, переживают как бы свое второе рождение в наши дни».

Второе рождение предстоит и произведениям Чаянова-писателя.

Вл. Муравьев

Юлия, или Встречи под Новодевичьим

Романтическая повесть,
написанная московским ботаником Х.
и иллюстрированная Алексеем Кравченко

*Ольге — спутнице дней моих
посвящаю эту книгу*

12 апреля 1827 года

Бесспорно, господин Менго должен почитаться одним из чудес современного мира!.. С тех пор как он появился на поприще биллиарда, все законы Эвклида и Архимеда рассеялись, как дым.

Ударенный шар вместо абриколе бежит по кривой; шар, на вид едва тронутый, касается борта, отлетает от него с неожиданной силой и делает круазе от трех бортов в угол.

И только представить себе, что разгадкой сему необычному волшебству — всего-навсего незначительный кусочек кожи, прикрепленный к кончику кия, усовершенствованного господином Менго.

Отныне для совершенного игрока нет более невозможной билии. Одухотворенные шары...

Впрочем, я должен рассказать все по порядку...

Как только стало известно, что господин Менго, или, как он пишется по-французски — Mingaud, уже приехал из Варшавы и остановился в номерах Шевалдышева, все почитатели его таланта собрались в биллиардных залах Купеческого собрания... Наш ментор и ценитель Роман Алексеевич Бакастов, маркер сего почтенного клуба и достойный преемник непобедимого Фриппона, уверял в возбуждении, что француз против Протыкина не вытянуть. Молодежь, наскучивши ожиданием, сбилась в углу диванной, где конногвардеец Левашев, только что вернувшийся из Санктпетербурга,

утверждал превосходство Вальберховой над московскими артистками, чем заставлял багроветь шею майора Абубаева...

А сам герой дня, мой приятель Протыкин, красный от волнения, делал шар за шаром, разминая мастерскую руку.

Менго заставил себя ждать изрядно. Когда терпенье наше было на исходе, он появился в сопровождении старшин и в напыщенных словах, любезных до приторности, сообщил, что за дорожной усталостью играть сегодня не в состоянии и просит разрешения быть на сегодняшний вечер простым наблюдателем московской игры, знаменитой на его родине еще с 1813 года и *si presieux, si delicieux*¹.

Ропот возмущения был ему ответом.

Несколько горячих голов, столь же мало учтивых, как и мало взрослых, требовали, чтобы маэстро, столь осторожный в отношении своей славы, просто без игры показал хотя бы один из своих столь прославленных ударов.

Надо думать, что я, разгоряченный долгим ожиданием, выделялся своим чрезмерным волнением среди негодующей толпы, потому что господин Менго именно ко мне обратился, прося меня сделать ему одолжение и разбить первым шаром белевшую на бильярдной зелени пирамиду, заботливо поставленную Бакастовым.

Вся кровь прилила у меня к голове и дрожали руки от неожиданности той роли, которая была на меня возложена. Пятнадцать шаров двоились в моих глазах. И хотя я и хотел из любезности расшибить пирамиду вдребезги — рука дрогнула, едва не вышел у меня кикс. Желтый ударился в правый угол и отбил только три шара.

«*Parfaitement!*»² — сказал Менго, взял кий, и разом все стихло кругом.

Мне было досадно за свою неловкость, и я к тому же почему-то обозлился на наглый тон француза. Однако вместе с другими впился глазами в кончик его кия.

В гробовой тишине послышался сильный, четкий и необычайно низкий удар. Шар стремительно рванулся вперед и... пролетел мимо подставленного мною на простой дублет седьмого номера.

¹ такой захватывающей, такой великолепной (*франц.*).

² «Прекрасно!» (*франц.*)

Цицианов даже свистнул от неожиданности. Еще момент — и, казалось, менговский биток пойдет писать гусара. Как вдруг, промазавший биток, не доходя двух четвертей до борта, сам по себе останавливается посеред поля, стремительно возвращается назад, четко берет от борта крепко приклеенный шар, делает контр-ку, посылает пятый номер в лузу, а сам вдребезги разносит не добытую мною пирамиду.

Рев восхищения был наградою гению биллиарда.

Менго, побледневший от напряжения, как будто бы даже не заметил, что был столь необычно аплодирован, и продолжал делать билию за билией, делая невозможное — возможным, трудное — игрушкой и каждым ударом посылая ко всем чертям все законы математики.

На наших глазах он кладет подряд 15 шаров и в изнеможении падает на кресло.

Мы неистовствуем, а когда успокаиваемся, то ищем свою надежду, своего героя, своего игрока Протыкина, но не находим его.

Его не оказывается также и в соседних залах.

Смущенный Бакастов рассказывает, что после первой же билии француза Протыкин сломал в досаде надвое свой кий и выпрыгнул в окно.

Бросились искать и ободрить его. Обшарили все московские улицы и подходящие места, но тщетно.

Бывают же такие люди, такие колоссы, как Менго!

13 апреля 1827 года

Спешу записать странное событие сегодняшней ночи. Вернувшись домой из Купеческого собрания, я был в страшном волнении, сон бежал от меня, и я писал при догорающих свечах свой дневник, покуда они не погасли.

В голове раздавалось щелканье шаров, и стоило мне закрыть глаза, как проклятые эти менговские шары начинали бегать передо мной.

Проснулся я на рассвете от страшного стука в окно. На фоне красной полосы занимавшейся зари, сквозь запотелые стекла виден был человек, который, наклонившись к окошку, неистово стучал кулаком по раме.

Я вскочил и подбежал к окну.

Это был — Протыкин.

«Ну, брат, и история! — сказал он, влезая в отворенное мною окно. — Мадера у тебя есть?»

Всклокоченный, с подбитым глазом, с воспаленными от бессонной ночи зрачками, он забился в угол дивана и, выпуская клубы дыма, начал описывать свои похождения.

Из его бессвязных и отрывочных фраз можно было понять, что, придя в отчаяние от первой же билии Менго и предчувствуя полный разгром своей бильярдной славы, Протыкин сломал в отчаянии свой кий, выскочил с подоконника, на котором он стоял, наблюдая игру Менго, в тишину клубного сада и в горести решил выпить как стелька.

Однако в первом же кабаке его взяла такая грусть, что неудержимо потянуло к цыганкам, и он начал искать, не поет ли где Шешка. Однако рок преследовал его и на путях искусства... Степанида с дочерью уехали петь в Свиблово к Кожевникову и увезли с собою чуть ли не все московские таборы. Осталась одна надежда на последнее убежище всех допившихся до белых слонов гусаров — Маньку-пистон, которая, как рассказывали у нас, года два назад своей разухабистой песней «Разлюбил, так наплевать, у меня в запасе пять» произвела землетрясение на Ваганькове, так как все похороненные там гусары не выдержали и пустились в пляс в своих полусгнивших гробах.

Манька жила где-то в Садовниках. Протыкин уже прошел через Устьинский мост и приближался к старому комиссариату, как вдруг остановился потрясенный.

У самого берега Москвы-реки в круге тусклого света уличного фонаря стояла девушка.

Несмотря на холодную ночную пору, она была в одном платье с открытыми плечами и руками.

В мигающем на ветру свете фонаря Протыкин успел разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Было непостижимо, что она могла делать здесь, в такой час, одна и в таком костюме.

Мгновение они стояли друг перед другом в молчании... Затем девушка протянула ему руку.

Протыкин почувствовал холодное прикосновение тонких пальцев к своей руке, и в тот же миг сильный удар по лицу сбил его с ног вниз, в Москву-реку, и в воздухе зазвенела обратительная ругань...

Когда Протыкин взобрался наверх, на набережную, де-вушки не было, и где-то далеко между фонарями бежала, сгорбившись, человеческая фигура...

13 апреля, вечером

День вышел незадачный. Едва успел уйти взволнованный Протыкин и я наскоро записал его ночное похождение, как на двор со звоном влетела вся покрытая грязью данковская вороная тройка, и батюшкин конюший Емельян ввалился ко мне в комнату с батюшкиным письмом в руках.

Письмо наполнило меня грустными воспоминаниями. Батюшка подробно описывал мне гибель гнедого Артаксеркса, который оступился на гололедице и сломал себе ногу... Несчастливого пришлось пристрелить.

Несчастный Артаксеркс! Как приятно бывало, вернувшись весной из душных стен Благородного пансиона к данковским пенатам, вскочить на твою широкую спину и скакать через старые гумна к Елоховскому пруду на водопой.

Могу ли я когда-нибудь забыть маленькую ножку Наташи Храповицкой, ласкавшую твои крутые бока, о Артаксеркс, в памятную поездку на Яблонку... Увы, улы, давно ли это было, а сколько воды утекло с этого памятного дня, и помнит ли теперь графиня Маврос наши детские клятвы. Увы, улы...

Батюшка писал, что для весенних полевых разездов ему необходимо в ближайшие же дни под верх новую лошадь, могущую столь же легко носить его дородную фигуру, как это делал покойный Артаксеркс. А потому просил купить, не медля, по сходной цене крепкого жеребца, не ниже трех вершков.

Вместе с Емельяном обрыскали мы сегодня все московские конюшни, побывали у всех знаменитых содержателей — англичан и русских... Видели у Банка Доппля от Ковентри и Тритона, а у Джаксона вывели нам самого Тромпетера от Трумпатера. Не лошадь — огонь, рыжий с флагами, но жидковат для батюшки.

Пришлось побывать и на частных конюшнях у Закревского, Давидова и Панчуладзева. Больше всех понравился мне Панчуладзиев жеребец Замир. Бурый в масле, большого роста, широкий, ноги плотные, шея лебяжья с зарезом, го-

лова небольшая, уши острые, глаза навывкате, и оскал такой, что в ноздрю хоть кулак суй; хвост и грива хотя и жестковаты, но в остальном не уступят и самому Тромпеттеру. Дороговат, да зато для батюшки лучше и не выдумаешь.

Оставил Емельяна торговаться и кинулся в Купеческое собрание любоваться подвигами Менго. Еще по дороге от скачущего во всю прыть на наемном колибере Тюфякина, нашего первого нувелиста, узнал я о совершенном его триумфе.

Клубские залы были переполнены до невозможности. Среди посетителей мог я отметить немало и бильярдных игроков Английского клуба.

Менго не только делал все билии, но, играя в черед, всегда офрировал партнеру такие шары, что они либо были накрепко приклеены, либо стояли в труднейшем абриколе.

Когда я протиснулся в бильярдную залу, то француз, не зная, чем еще выразить свое превосходство, заявлял с удара два шара и делал их как простые угольники. Преимущество было настолько велико, что игры, собственно, не было, и даже было неинтересно.

Бакастов попробовал было играть в пять шаров на сплошных киксах, но на третьем же шаре бросил игру.

Протыкина не было, но его похождение было уже известно всем и сверх моего ожидания не вызвало большого удивления, так как за последний месяц Корсаков и Ребиндер хотя и не получали в рыло, но сталкивались с блуждающей дамой.

Все терялись только в догадках, кто она могла быть. Невест, как известно, в Москву из степных деревень привозят одновременно с поросятами — к рождеству, а по платью и общему тению она не могла быть мещанкой.

Бакастов, мрачный и раздосадованный проигрышем, крушением всех своих теорий и в еще большей степени распространившейся сплетней, будто его лучший ученик Протыкин еще поутру поступил в обучение к господину Менго, — чертыхался и объяснял все дьявольскими происками фармазонов.

Сообразно случаю рассказал он нам про те обстоятельства, при которых дал он зарок более не играть в кегли. Рассказ Бакастова вышел столь достопамятным, что я почитаю за должное записать оный в свою тетрадь.

По его словам, еще будучи мальчиком, служил он у Мельхиора Гроти в вокзале при кегельбане на предмет подавания шаров. В те дни в Москве подвизались иллюминаты и среди них некий барон Шредер.

Случилось быть проездом через Москву гишпанскому полковнику Клепиканусу, большому любителю кегельной игры. В недобрый час побился он со Шредером на крупный заклад против его, барона Шредера, пенковой трубки, что обыграет его в два счета. Начали играть. Клепиканус с первых же четырех шаров разбивает всю девятку.

«Поставил это я заново кегли для барона, — рассказывал, размахивая руками, Бакастов, — а тот, поди, и шаров-то в руки никогда не брал. Первым шаром промазал, вторым — мимо, третьим — тоже не лучше... Ну, думаю, не видать тебе твоей пенковой трубки. Только гляжу это я — барон-то наш как схватится за голову да вместо четвертого шара своею собственной бароньей головой по кеглям как трахнет... Только тарарам пошел. Вся девятка влежку. А из воротничка-то у него дым идет. Подбежал это я к кегельбану за кеглями, гляжу, господи боже ты мой, святая владычица троеручица, — вместо кеглей-то человечьи руки да ноги, а голова-то вовсе не Шредерова, а Клепикануса. Оглянулся. Барон Шредер стоит себе целехонек и пенковую трубку курит, Клепикануса вовсе нет, а гости все от ужаса окарачь ползают».

Рассказ недурен, только надо думать, что Бакастов заливает.

22 апреля 1827

Весь день сегодня опять погубил я на лошадей. Панчуладзев меньше чем за тысячу не отдавал.

Целое утро искал другую лошадь. Даже до цыган доходил. Наконец умолил Петра Григорьевича уступить Замира за восемьсот.

Вечером был на обеде у Долгорукова Юрья Владимировича, прежде бывшего главнокомандующего московского. Хотя многие и говорят, что прежние годы состоял он в фармазонах, тем не менее старик всегда приветлив, и мрачности в нем я никогда не замечал.

Обед был на 80 кувертов, и я никогда не видывал такого стечения, как сегодня. Мог я отметить Петра Хрисанфовича

Обольянинова, нашего предводителя, Александра Александровича Писарева, попечителя Московского университета, Степана Степановича Апраксина, нашего мецената и покровителя московской Талии, а в конце обеда подъехал сам граф Федор Васильевич.

Что бы ни говорили наши зоилы, должен признать, что общение со столь знатными особами возвышает и облагораживает.

Говорили о разном, а больше всего о завтрашнем спектакле «Павильон Армиды», и Шаховской хвастал, что Гюлен-Сорша должна на этот раз превзойти самое себя, особенно в *pas de deux* с Ришардом-младшим.

Протыкинское приключение всех рассмешило изрядно, и остроловцы интересовались, какое количество шкаликов довело моего приятеля до замоскворецкой сильфиды; Измаилов даже сочинил экспромт, намекающий, что не только дамы, но и кулака не было, а просто пьяный Протыкин стукнулся лбом о фонарный столб.

Жалко, что не успел я записать эти острые слова.

25 апреля 1827 года

Я задыхаюсь. Я не могу перевести дух. К черту Измаилова, к черту наших скептиков.

Я не брал в рот ни единой капли вина, и я видел ее. Это она, бесспорно она — протыкинская незнакомка!

Было уже близко к полуночи, когда вышел я из Петровского театра, потрясенный воздушными па Гюлен-Сор, которая была аплодирована как никогда.

Мне не хотелось идти домой, и я, желая пребороть свое волнение, пошел бродить по улицам. Была лунная ночь. Редкие облака, гонимые ветром, бежали тенями по московским домикам и заборам.

Не успел я дойти до Каменного моста, как увидел в лунном сиянии медленно идущую девушку. Она была в одном платье с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря я мог разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Я сделал несколько шагов в направлении к ней и тотчас заметил сутулую фигуру, ковылявшую в отдалении. Вспомнив печальный опыт Протыкина, я понял, что всякая по-

пытка приближения кончится для меня дракой, и остановился. Между тем девушка заметила меня и также остановилась, протянула мне руки и, как бы призывая на помощь, махала мне платком. Вся кровь прилила у меня к голове, я смерил глазами уже приблизившегося карлика, угрожающе размахивавшего кулаками, и бросился между ними. Увернувшись от предназначенного мне удара, я изо всей силы саданул своего противника в перекосившееся от злобы лицо, но кулак мой... пронзил пустоту, и я растянулся на мостовой.

Карлик захохотал и исчез в темноте, оставив в моих руках драгоценный платок, оброненный незнакомкой. Девушки не было. Пробегав более часа по всем перекресткам — я остановился. Сердце мое билось. Я прижал к груди драгоценный платок и, простояв несколько минут в порывах все более и более крепнувшего ветра, поплелся домой.

Плотно затворил двери и окна своей комнаты. Выкинул всякую чепуху из бабушкиной шкатулки и положил туда данный мне небом залог любви. Забился в уголок дивана и стал курить трубку за трубкой, обдумывая план действий.

Нет мыслей в моей душе, нет дум, и только образ, любезнейший, нежнейший образ витает в моем сердце. Смотрят сквозь стены огромные серые глаза, и пряди пепельных волос стелются по ветру.

.....
Ужас наполняет душу мою, ум теряется, и голова начинает кружиться... Сейчас, желая посмотреть при свете восходящего солнца завоеванный трофей, подошел к окну, открыл бабушкину шкатулку и в ужасе содрогнулся. Она была пуста, и из ее глубины поднялся какой-то смрад, напомнивший мне по запаху табачный дым английского кнастера. У меня выступил холодный пот, и почему-то вспомнился мне рассказ Бакастова о чертовом кегельбане.

Что же мне делать?

8 мая 1827 года

Более двух недель не раскрывал я своего дневника, да и нечего было писать. Одна досада...

Друзья принимают меня за сумасшедшего, и только Протыкин, прибодрившийся после уроков, взятых им у гос-

подина Менго, и восстановивший свою бильярдную славу,— дружески в знак понимания пожимает мне руку.

Моя охота за незнакомкой тщетна. Я сбил двое ботинок, граня московские улицы... Увы,— без успеха. Я бы давно бросил свои безумства, но клянусь головой Бахуса, что дважды видел ее.

Однажды перед поездкой в Башиловский вокзал я сидел с Ребиндером и Костей Тизенгаузенем в кондитерской Педотти на Кузнецком и бешено спорил о преимуществе голоса Синецкой над прославленным голосом петербургской Колосовой... как вдруг остановился на полуслове... На противоположном тротуаре шла моя незнакомка. Я опрокинул стол и бросился к выходу... Улица была пуста.

Другой раз я гнался за нею по Полянке. Она заметила меня, обернулась, протянула ко мне умоляюще обе руки и вдруг пропала.

Странно было только, что пропасть-то ей было некуда. И справа и слева тянулись заборы замоскворецких садов, и сколько я ни обшаривал их, нигде не было видно никакой калитки.

Смущало меня также и то, что в этот раз она была как бы значительно выше ростом, чем в первые две наши встречи.

Но это была она, бесспорно она. Те же пепельные локоны волос, те же огромные серые глаза, то же сверкающее ожерелье.

Теперь вот уже более недели я не видал ее. С грустью таскаюсь днем по всем московским кабакам и кофейням и, к ужасу своему, пристрастился к курению табака.

Целые ночи напролет страдаю бессонницей, читаю и немилосердно курю трубку за трубкой.

Начал даже понимать тонкости табачного вкуса. Поначалу забирал я арабские и турецкие табаки у греков на Никольской, все больше у Кордия, но, втянувшись, нахожу их жидкими. Купив как-то у мадам Демонси английского, с медом сваренного кнастера, перешел я к табакам американским и наипаче голландским, которые постоянно и лучшего достоинства в старой Ниренбергской лавке у Пирлинга, состоящей на Ильинке в доме купца Варгина.

Якобсон снабдил меня пенковыми трубками, и я предаюсь отчаянию в голубых струях голландских табаков. Мир отошел от меня, и весьма редко доходят до меня но-

вости, потрясающие Москву; только неделю спустя узнал я о странном исчезновении господина Менго, наделавшем столько хлопот нашему московскому обер-полицмейстеру, добрейшему Дмитрию Ивановичу Шульгину, а о том, как Варька с трелью из Соколовского хора разбила гитару о голову достойнейшего Степана Степановича, узнал только сегодня. Нахожу жалкие радости в самих терзаниях и мечтаю о хорошо обкуренном кенигсбергском янтаре, собираюсь даже в воскресенье двинуть на Смоленский... Может, найду там у старьевщиков.

12 мая 1827 года

Опять я в волнении, опять у меня трясутся все поджилки. Я, кажется, нашел путеводную нить... Однако по порядку.

В поисках за обкуренным янтарем пошел я сегодня, как и намеревался, на Смоленский рынок в старый ветошный ряд.

Долго рылся я безо всякого успеха среди всякого железного хлама, обломанных рюмок, синих стеклянных штофов и изъеденных мышами книг, среди которых попалась мне на глаза занятная книжонка про египетские обыкновения, называемая «Крато репея» и изданная покойным Новиковым.

Янтарей не было, и я уже собирался уходить, как увидел на рогоже среди двух сабель, старого патронташа и всякой дряни фарфоровую трубку удивительной раскраски. На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки зодиака и окружали сверкающий позолотой герб или, быть может, магический пентакль.

Я поднял ее и начал рассматривать. Ничего подобного не было в моей коллекции.

«Что стоит, хозяин?» — спросил я у восточного человека, сидящего перед рогожей на корточках и распространявшего на полверсты запах чеснока.

«Последняя цена пятнадцать рублей», — заломил он с обычной наглостью.

«Я даю двадцать!» — услышал я голос из-за своей спины.

Обернулся и онемел от внезапной неожиданности. Перед мной стоял мой противник, у которого отбил я в памятный вечер шелковую шаль моей незнакомки.

«Тридцать!»

«Сорок!»

«Пятьдесят!»

«И еще пять!»

«Семьдесят!» — заявил я в ажитации.

«Молодой человек, — обратился ко мне карлик. — Будет вам дурака-то валять. Мне эта трубка нужна в непоколебимости, а вам она ни к чему. Давайте, если уж вам так угодно, разыграем ее на орел или решку».

У меня в кармане было немногим более семидесяти целковых, и стоило старику набавить десятку, как я выходил из игры. Поэтому мне ничего не оставалось, как согласиться на сделанное предложение.

«Только знаете что, — обратился я к старику, который как будто начал меня припоминать, — не зайти ли нам в трактир и не разыграть ли нам пипочку на биллиарде».

Мне казалось, что я смогу не без выгоды использовать протыкинские уроки.

«Извольте. Почему бы и нет? — усмехнулся мой собеседник. — Как бы только не пришлось вам пожалеть впоследствии, молодой человек».

«Тем лучше для вас! Условимся только, что, ежели мне суждено будет проиграть, вы не откажетесь рассказать, чем, собственно, замечательна эта трубка и почему вы ею дорожите».

«С превеликим удовольствием», — произнес старик, и мы вошли в биллиардный зал трактира.

В прогорклом от табачного дыма воздухе на зеленом биллиардном поле выросла перед моими глазами пирамидка шаров, задрожала в какой-то необычайной отчетливости очертания и тотчас же поплыла в тумане... Мой противник с неожиданной для его хилого тела силою первым же ударом раскатал ее и подставил мне шары под астрорябию и простые угольники.

Я взял кий, закусил нижнюю губу и, памятуя протыкинские наставления, стал резать подлужные шары почти на киксах. Раз, два, три... пять билий подряд клал я шар за шаром и только на шестой попал в коробку и пошел гусаром.

«Недурно, молодой человек, совсем недурно для начала», — промолвил карлик, весь как-то надулся до крайности, бочком подошел к биллиарду, прищурил глаз и стукнул по седьмому номеру.

Два раза от борта, круазе и в правую лузу, и притом с такой силой и треском, что все посетители вздрогнули и поспешили к нашей игре, и я сразу почувствовал, что погиб.

«Тэкс, молодой человек!» — и снова удар в двойное апроше и два шара в лузу.

«Тэкс!» — и снова чисто сделанный шар.

Кругом стояла стеной восторженная толпа трактирных завсегдатаев, даже толстобрюхий буфетчик, с золотой цепочкой на жилете, и тот вышел из-за стойки и уставился глазами на шары.

«Тэкс, молодой человек!» — и снова удар, какой-то особенный, снизу, по-карличьему обыкновению. Билия за билией, шар за шаром, и вдруг у меня мурашки забегали по спине. Диковинное движение шаров показалось мне до ужаса знакомым, когда-то совсем недавно виденным, неповторяемым.

Еще момент, диковинный контр-ку в двойной шпандилии, и я не мог уже сомневаться, что передо мной в карликовом облике сам, столь таинственно пропавший, господин Менго собственной персоной.

На меня напала мелкая дрожь и огненные круги завертелись в глазах, когда мой страшный противник под ропот восхищения сделал последний шар и, прищурив глаз, подошел ко мне.

«Так-то, молодой человек! Плакала ваша трубка. В орлянку-то вам было бы куда способнее со мной тягаться».

Трубка была уже в его руках, и он собирался уходить, когда я очнулся от столбняка и задержал его движением руки.

«Послушайте, почтеннейший, трубка бесспорно за вами, но не забудьте, что по нашему уговору она будет вашей только после того, как вы расскажете о ее достоинствах».

«С превеликим удовольствием, дражайший мой, с превеликим удовольствием», — ответил мой страшный собеседник, придвинул стул к моему столу и, прищурив глаз, начал.

«Слыхали ли вы, молодой человек, как в Филях прошлым летом один из курильщиков табака был взят живым на небо?»

На мой отрицательный ответ старик придвинулся ко мне поближе и рассказал удивительную историю. По его словам, в начале прошлого лета неизвестно откуда приехал в Фили

какой-то не то француз, не то немец и снял у Феогностова домик на пригорке по дороге к Мазилову.

«Ничего себе, хороший немец, тихий... Только что начали за ним наблюдение иметь; сначала, значит, мальчишки, а потом, когда всякие художества за ним обнаружались, и настоящий народ».

«...настоящий народ» прозвучало у меня в ушах низким фальцетом, и я чуть не упал от неожиданности на пол, передо мной на стуле сидел, оживленно продолжая свой рассказ, уже не карла, а буфетчик из-за стойки. Его щеки в волнении рассказа надувались, золотая цепочка на жилете мерно покачивалась, а сзади, опираясь на спинку стула, стоял страшный биллиардщик, курил трубку и молчал.

Я не мог понять, как и когда произошла эта замена. Почему? Каким образом? В висках у меня стучало, а буфетчик, раскачиваясь, продолжал между тем свой рассказ.

«Стали примечать, что любил, значит, он, немец, в ясный безоблачный день, чтобы ему в садике посеред малинника чай собрали, и выходил он к чаю в синем халате и с трубкой. Садился это, значит, в кресло, набивал трубку табачищем и начинал из нее разные кольца и финтифлюшки из табачного дыма выдувать. Понатужится это немец, и, глядишь, из трубки дымище этот самый вылезает, словно как бы калач, али словно бутылка, али как бусы, а то и незнамо что... Вылезет и кругами ходит, растет, раздувается и вдруг потом прямо в небо облаком уходит и плывет себе, как настоящая божья тучка.

Посидит, бывало, этот немец за чаем часика два и все небо, сукин сын, испакостит. Все небо от евойных облаков рябью пойдет. А раз пропыхтел это он со своей трубкой целый день, и к вечеру из его проклятых туч даже дождь пошел, желтый, липкий, как сопля, и табачищем после этого дождя ото всякой лужи за версту несло... Только ему это даром не прошло... Уж очень много он из себя этих облаков-то повывудвал, нутро свое израсходовал, и в успенском посту, как раз в пятницу, поднялся это, значит, здоровый ветер, да как этого самого немца со стульчика-то сдует, потому в нем веса-то никакого не осталось, да, как перышко, кверху и потянет. Немец руками и ногами болтыхается... Куда тут, подымает его все выше и выше... Народ собрался; хотели в набат ударить, да только отец Василий запретил святые

церковные колокола по такому плохому делу сквернить и высказался, что «собаке и собачья смерть». Так, значит, и пропал немец-то в поднебесье».

«Так вот-с, молодой человек,— сказал на этот раз уже мой страшный противник, отрываясь от трубки и пуская клубы дыма,— эта трубка-то она самая и есть».

Я пришел в оцепенение, не зная, принимать ли слышанный рассказ за чистую монету или за дьявольское наваждение, а карла с хохотом выбежал в дверь.

К счастью, мой столбняк продолжался недолго, и я, выскочив на улицу, успел заметить, как старик повернул направо за угол.

Через минуту я подбежал к углу и заметил вдали сгорбленную спину уходящего вдаль карлика. Я прокрался в тени забора, с бьющимся сердцем выслеживая своего противника, ища найти хоть какую-то нить, ведущую к прелестной незнакомке.

Перебегая от угла к углу, боясь быть обнаруженным, я не раз, казалось, терял его, то в изогнутых переулках около Плющихи, то идя по набережной по пути к Потылихе. Однако всякий раз замечал в отдалении сгорбленную спину и снова устремлялся в преследование.

Мы вышли к пустырям на задах Новодевичья монастыря. Вечерело. Сизая дымка тумана, поднимавшегося с прудиков у монастырских стен, застилала крепостные башни. В воздухе на красном закатном небе кружились с криком гигантские стаи тысяч ворон... мне казалось, что сейчас, именно сейчас произойдет что-то необычайное, страшно необычайное... Сутулая фигура старика, пробиравшаяся среди зарослей бурьяна, начала плясать в моих глазах...

Однако ничего не случилось, и как только вышли на берег против устья Сетуни, старик подошел к небольшой группе домов, остановился, вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел в дом. Через несколько минут в одном из окон второго этажа загорелся свет.

Я подошел почти вплотную к домику и, чтобы не привлекать ничьего внимания, залег в заросли крапивы, ошпарив изрядно левую руку. Лежал, не спуская глаз с двери и засветившегося окна. Было видно, как человеческая фигура ходила по комнате, и тень ее пробегала по потолку. Потом задержали занавеску.

Сумерки сгущались. Вскоре стало совсем темно. Я лежал

в своей крапиве как заговоренный, не имея сил встать и чего-то ожидая.

Не знаю, долго ли пролежал я у таинственного дома, если бы меня не вывел из оцепенения женский голос, раздавшийся совсем рядом со мной.

«Гляди-ка, тетка Арина, у табашника-то свет зажжен».

«А ну его, плюгавого, к бесу».

Две бабы, громыхая ведрами, прошли к Москворечью. Я поднялся и пошел домой, обессиленный, взволнованный необычайно.

Теперь сижу и записываю в свою тетрадь события безумного дня, и мне кажется, что из темного угла карла смотрит на меня, прищурив один глаз и посасывая свою трубку.

Жутко и сладостно. Завтра чуть свет пойду караулить старика.

13 мая 1827 года

Краска стыда заливает мои щеки, а я тем не менее ничего не чувствую... Словно какая-то струна оборвалась в моей груди, и ничего нету... Придя вчера за полночь из-под Новодевичьего, весь грязный и измученный, я сел в кресло, твердо решив не раздеваться и ждать рассвета. Однако, записав несколько страниц в своем журнале, не мог преодолеть усталости.

Утром проснулся я от стука в свою дверь и увидел всклокоченную голову Емельяна и около него босоногую девчонку с письмом в руках.

Письмо было от Верочки, и я вздрогнул, узнав знакомый лиловый конверт, заклеенный зеленой облаткой... Однако вместо радости ощутил скорее некоторую досаду из-за разрушения моих намерений.

Верочка писала, что в данковскую усадьбу дошли слухи о моем нездоровии, ее обеспокоившие, и она поспешила приехать со своей матушкой в Москву, тем более что приданое белье все уже перешито, а подвенечное платье решили делать в Москве у мадам Демонси на Кузнецком.

Еще месяц назад напоминание о предстоящей моей свадьбе и приезд невесты наполнили бы меня радостью бесконечной, а теперь...

Я стоял около ее кресла с шапкой в руках, не зная, куда деть руки и что ей сказать... Вначале она вся раскрас-

нелась от счастья и щебетала как канарейка, потом ее сверкающий взгляд начал потухать... Она взяла меня за обшлаг рукава и замолчала. Вместо того чтобы поцеловать, как прежде, как всегда, розовые ногти ее руки, я почему-то стал ругать мадам Демонси и настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у Лебура...

...У нее на глазах показались слезы... Она пыталась что-то сказать об усадьбе, отстроенной для ее приданого, но не кончила, расплакалась и убежала. В глубине комнат слышались ее рыдания... и тотчас зашлепали, приближаясь, чьи-то козьи ботинки... Я не стал ждать появления их обладательницы и, махнув рукой, вышел из дому... Заметил только почему-то в прихожей знакомую Верочкину картонку для шляп и рядом кадучку с медом... почему-то они меня потрясли, и сейчас вот вижу их перед глазами, а в душе пустота. Шел как каменный... Как каменный бродил под Новодевичьим, как каменный тщетно лежал у карлова дома в крапиве и вот сейчас пишу и ничего не чувствую... хотя ясно мне, что произошло что-то гадкое, непоправимое.

Емельян говорит, что Горелины тотчас же после обеда заложились и уехали назад в Данков.

Но что же я могу сделать, она владеет всеми помыслами и всеми чувствами моей души, она одна... Бедная, бедная Верочка! Особенно жалко мне тебя, когда вспомнил я твою шляпную картонку, всю запыленную и так и оставленную, наверно, нераскрытой... Но что же я могу сделать, что?..

5 июня 1827 года

· Я безумствую, я сам чувствую, что начинаю сходить с ума... Судорожно сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту. Я уже пять раз видел ее, но чего это мне стоило, к чему это привело...

Родственники мои обеспокоены, держат меня в наблюдении. Сначала зачистил ко мне дядюшка Евграф, пока его зеленая, со шнурами венгерская куртка, сизые подусники и висящая на нитке полуоторванная пуговица верхнего кармана не привели меня в неистовство и я не наговорил ему дерзостей.

Немедля на моем диване появилась вздыхающая Евпраксия Дмитривна, нестареющая прелестница пудов на восемь

весу, та самая, которой мы в детстве так любили на сон грядущий класть под одеяло сливочные тянучки и турецкий рахат-лукум. Затем из облаков московского Олимпа выплыл сам князь Борис... И как бы невзначай, чуть ли не каждый день, стал забегать на две понюшки табаку добрейший Карл Августович, наш медикус и светило.

Не имея, по причине субординации, никакой возможности отделаться от непрошенных гостей, я начал было вояжировать через окно буфетной комнаты к Евсегнеевым на двор и по задам к Сивцеву Вражку, но окончательно сгубил этим делом свою репутацию; был выслежен, и Евсегнееву приказано было спустить с цепи Полкана.

Пути отступления сузились, и далеко не каждый день мог я добраться до своей заветной крапивы. Да и лежа в своей крапиве, я был обречен на отчаяние и терзание...

Часто я целыми днями лежал бесцельно, дверь не отворялась, дом, казалось, был пуст, и вечером в окнах не зажигалось света.

Иногда неожиданно, часто уже совсем к ночи, запотелые окна освещались, и я мог видетьдвигающиеся тени... Чьи? Сердце мое пыталось разгадать это.

Иногда же, и не было тогда пределов моему счастью, дверь отворялась. Сгорбленный карла, без шапки, с горящими глазами, выходил и останавливался в ожидании, и через минуту... как бы не замечая его, выходила она, всегда неожиданная, всегда прелестная... всегда в том же платье со сверкающим ожерельем.

Проходила мимо, совсем близко от моей крапивы, улыбаясь неизвестно кому, и карлик сопровождал ей в отдалении, перебегая улицы нервной походкой, оборачиваясь, задыхаясь...

Желая разгадать тайну, страшась быть обнаруженным, я выслеживал их с осторожностью необычайной, следуя за их шагами из-за угла и перебегая за ними к новому углу только тогда, когда и девушка, и старик скрывались за поворотом.

Так шли мы из улицы в улицу. И чем ближе мы приближались к центру, тем труднее становилась моя погоня, и я с трепетом всматривался в прохожих, боясь встретить знакомых и паразитить их своею стремительностью.

Однажды, когда я перебежал через Знаменку, чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я обернулся, чтобы

оттолкнуть нападавшего, и увидел самого князя Бориса, побагровевшего от ярости и шипящего сквозь зубы свои французские проклятия.

Но что все это было по сравнению с тем, что я видел в своем преследовании, что повергало меня в ужас, чего не мог постичь мой мозг...

Мои преследования, если я их доводил до конца, всегда оканчивались одним и тем же.

Когда подбегал я к последнему повороту, я всегда видел спину остановившегося в замешательстве карла, и ничего больше... Незнакомка исчезала без следа. Она не могла войти в какой-либо дом, потому что ее исчезновение совершалось в разных частях Москвы. И что всего удивительней — исчезновение это было, очевидно, неожиданно для самого ее охранителя.

Старик обычно останавливался как вкопанный, стоял некоторое время, потом горбился еще более и с хмурым видом повсрачивал назад... а я бежал, чтобы не попасться ему на дороге. Забирался в какой-нибудь кабак и в ужасе восторга и отчаяния забывался в винных парах, ища в опьянении удержать в своем взоре тонкую линию шеи и пряди волос, стелющиеся по ветру...

13 июня 1827 года

Я не могу больше... Мозг мой немеет... В глазах все застилается дымкой... Я должен раскрыть эту тайну или должен погибнуть, потому что я дошел уже до черты.

Сегодня часов в пять мне удалось в первый раз за всю неделю победить бдительность моих сторожей, и, стравив приставленного ко мне кузена Кондаурова в пикет с добрейшим Карлом Августовичем, я прямо без обиняков выбежал через парадное крыльцо на улицу, вскочил на проезжавший наемный колибер и бил несчастного ваньку по шее до тех пор, пока всякая опасность погони исчезла.

Передо мною стояла новая задача... Я решил проследить, что делает старик после того, как девушка исчезает.

Мне повезло. Не успел я вылезти из своего овражка в крапиву, как в одиноком доме закрипели ступени, открылась дверь, и склоненный старик пропустил Юлию, я был сегодня уверен, что ее зовут именно так.

Я последовал за ними, на этот раз по направлению к

Плющихе, мы вышли к Москве-реке, шли по Садовой, шли по Кречетникам, и за углом у Спаса около коковинского дома девушка исчезла.

Старик, как обычно, постоял некоторое время на месте и потом с опущенной головой поплелся назад. Я спрятался за церковным крыльцом и, когда он проходил мимо, слышал, как вздыхал он со стоном и скрипел зубами... Скоро я понял в своем преследовании, что направлялся он прямо домой, и действительно, вскоре он отпер большим ключом дверь одинокого домика, и через минуту в окне затеплился свет и забегали тени... Я залег в крапиву, не имея сил уйти, очарованный движением мигающих теней... Через полчаса свет внезапно погас... заскрипели ступеньки, карла вышел на улицу, и (мозг мой теряется, руки вновь начинают дрожать) в открытую дверь вновь показалась мне незнакомка. Вновь засверкало ее ожерелье, вновь улыбалась она кому-то, проходя мимо моего логовища.

Я следовал за ними недолго, в Ростовских переулках она пропала, а через час в лунном свете осенней ночи она вновь, в третий раз, вышла из одинокого домика у Девичья монастыря на берег Москвы-реки... Я не имел сил следовать за дьявольской четой и, потрясая кулаками и призывая небо в свидетели, всю ночь пробегал по московским улицам, пока не наткнулся на Кондаурова, также всю ночь бегавшего по Москве в поисках за мною.

14 июля 1827 года

Я рассказал им все... Я не мог больше скрывать. Мы варили пунш. Послали за Протыкиным, и я, дрожа от волнения, увлажняя горячей влагой пересыхающее горло, день за днем, шаг за шагом, рассказывал им свои терзания, а Протыкин клялся в том, что каждое слово мое — святая истина.

Карл Августович поминутно хлопал себя по коленам и восклицал: «Ach! Mein Gott!» А Кондауров, дымя конно-гвардейской трубкой, ходил из угла в угол так, что трещали половицы, и чертыхался, как два эскадрона на плохом постое.

К утру они поклялись выручить меня и, если нужно, силой раскрыть дьявольское наваждение... Светает... Тушу свечу и хоть немножко засну перед решительными событиями...

16 июля 1827 года

Насколько моя память могла сохранить стремительность событий, все произошло так... Должно быть, так... Протыкин и Ванька Кондауров выскочили из своей засады, прямо на карла. Юлия даже не обернулась на поднявшийся крик и, как сомнамбула, неизвестно кому улыбаясь, продолжала свой путь.

В два прыжка я был около нее... Дрожь охватила все мое тело, и какой-то дьявольский трепет наполнил душу... Она была прекрасна, как никогда, сверкающее ожерелье поднималось на мерно дышащей груди, и линии тела сквозили сквозь складки легкого платья. Я сорвал с головы свой цилиндр и бросил его далеко прочь. Шел почти рядом с ней, и все кругом наполнялось биением моего сердца... Сначала молчал, потом начал говорить что-то бессвязно, прерывно. Она заметила меня, наклонила голову и улыбалась.

Мы вышли к стене Новодевичьего, туда, где аллеи лип спускаются к прудам... Какие-то птицы кружились между ветвей... Я взял ее за руку, холодную, как лед... Она остановилась, посмотрела на меня влажным, невидящим взором, улыбнулась и протянула ко мне свои руки.

Не помня себя, я схватил ее в свои объятия и губами коснулся ее холодных губ.

В тот же миг, как бы в порыве ветра, ее волосы взвились куда-то; глаз, бывший перед моим глазом, куда-то дернулся в сторону, мои руки упали в пустоту, упал бы, наверное, и я, если бы чья-то рука не схватила меня за воротник.

Когда я очнулся, передо мной стоял батюшка и тряс меня за шиворот... А сзади Емельян еле сдерживал взмыленного Замира.

А теперь, вот уже второй день, я сижу на ключе... Батюшка гневается... Трясущийся от страха Карл Августович ставит мне к затылку кровососные банки, и за дверью слышно, как Евпраксия Дмитриевна поговаривает о горячечной рубашке... Меня бьет лихорадка.

Но клянусь всеми святыми, что я разрушу эти дьявольские козни и спасу Юлию. Мою околдованную невесту. Мою единственную, мою вечную...

18 февраля 1828 года

Уже второй день, как я могу сидеть в кровати и даже писать. Кругом все тихо... уже давно февраль. В окно видно, как галки скачут на снежных сугробах, и тишина данковских палестин, как целительный бальзам, врачует мою душу.

Верочка не отходит от меня... Поправляет мне подушки, приносит чай и читает мне вслух похождения Телемака... Милая девушка презрела все сплетни и московские толки и как обрученная невеста выпросила у батюшки сопровождать меня в данковскую деревню. И вот, благодаря ей, я поправляюсь... Кругом все тихо... Слышно, как в столовой тикает маятник английских часов, да скрипят половицы, когда кто-нибудь идет через залу.

Я знаю, что стоит мне дернуть за сонетку, Верочка положит на стол свое вязанье (она сидит в столовой у окна), отворит дверь и придет ко мне... поэтому все так спокойно, так безмятежно... Милая девушка, родная моя голубушка, как я тебе благодарен.

Сегодня я выпросил у нее свои тетради и, найдя дневник своих ужасных дней, вновь содрогнулся. Но хочу все же закончить эту грустную повесть и вот пишу.

Хватило бы только силы собраться с мыслями. Мои записки прерываются в тот самый день, когда я, запертый батюшкой, сидел в своей московской комнате и обдумывал способы освобождения Юлии от власти старика, несчастного старика, всю меру трагедии которого я не мог тогда и подозревать.

В ту же ночь я вырезал при помощи алмаза, бывшего в перстне, подаренном мне еще в детстве покойным дедушкой, стекло из рамы, отвинтил ставню и, сжимая в своих дрожащих руках кинжал и длинноствольный пистолет, еще задолго до полуночи был уже под Новодевичьим.

В домике света не было, все было пусто. Я дрожал в своей крапиве от пронизывавшей осенней сырости и хотел уже ломать дверь и силою проникнуть в дом Юлии, как вдруг в ночной тиши услышал знакомые стонущие вздохи... Старик возвращался домой, очевидно, после прогулки по Москве вслед за исчезающей Юлией... Со скрипом отперся и снова заперся дверной замок. Вскоре в знакомом окне второго этажа затеплился свет. Я встал со своей крапивы,

поднял тесину с мосточка, перекинутого через овраг, приставил ее к крыльцу и с возможной тихостью, засунув пистолет за пояс и закусив в зубах лезвие кинжала, влез по доске кверху и прильнул глазами к окошку.

Диковинное, не забываемое никогда видение открылось мне сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, медными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу на низком диване и ожесточенно курил... Из глубины его трубки невиданной спиралью поднимался необычайный дым — густой, светящийся.

Судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки огромные клубы дыма, которые то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, бесследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу.

Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы дыма, сцепляясь и расцепляясь, начали принимать форму человеческой фигуры... В бешеном вращении стали намечаться голова, плечи. Но они не понравились, очевидно, старику. Он поднял длинный вишневый чубук и ударил по дымовой статуе... Она распалась, и только мелкие обрывки дыма волчками побежали по полу.

Старик снова набил трубку, и снова завертелись клубы дыма, снова выросла табачная статуя, все более и более... Мгновение, и я весь задрожал — из дымовых струй возникли очертания Юлии, очертилось знакомое плечо, засверкало ожерелье, волосы шевелились в дуновении вихря. Юлия вздрогнула и стала быть.

Я готов был ворваться в комнату, но старик вдруг дико захохотал и ударил ее по голове своей трубкой. Видение рассыпалось, и я, в ужасе содрогнувшись, сорвался с подоконника и полетел вниз.

Надо думать, что при падении я потерял сознание, потому что все последующее я помню отрывочно и не вполне ясно.

Очнулся я от стука двери... Как в прошлый раз, как в двадцать прошлых раз, Юлия вышла и направилась к Москве, и старый карла заковылял за ней.

Вскоре они скрылись за углом дома. Я не последовал за ними, но вновь поднялся наверх, выдавил стекло и в каком-то пароксизме безумия ворвался в комнату. Начал разбивать трубки, рвать листы книг, ломать инструменты, топтать ногами, дико хохоча и рвя на себе волосы... Мое бе-

шенство кончилось только тогда, когда застучала дверь и по лестнице послышались торопливые шаги. Я выскочил в окно и, должно быть, упав на землю, снова лишился сознания.

Когда сознание вернулось ко мне, дом пылал, как костер, а вдали среди ив по направлению к Новодевичью бежала, согнувшись в три погибели, знакомая старческая фигура. Я последовал за ним, прихрамывая, потому что повредил при падении ногу.

Старик бежал прямо к Пречистенской башне, его стон был слышен далеко издали, но, однако, он не поднялся к липовой аллее, ведущей от пруда к стенам, а подбежал к самой поверхности воды. Я подумал, что он хочет топиться, и ускорил шаги, поскольку мне это позволяла волочившаяся нога.

Уже светало. Предрассветный туман белесоватым платом висел над водой, последние листья деревьев шорохом отвечали порывам ветра... Старик пропал... Я долго искал его у пруда и наконец, когда уже почти совсем рассвело, увидел, что его следы подошли к каменному водостоку, ведущему внутрь монастырской ограды... Отверстие водостока было очень широко, и я на четвереньках свободно последовал вслед за отпечатками следов... Гнилой запах водостока душил меня, колени скользили в какой-то слизи, но я полз...

Верочка запрещает мне писать, утверждает, что у меня воспалились глаза и началась лихорадка. Что делать, таковы законы моего пленительного плена. Подчиняюсь, буду слушать похождения Телемака и дремать...

22 февраля 1828 года

Продолжаю. Когда я вылез из водосточной трубы, то оказался на кладбище. Стариковских следов не было видно, так как кругом была желтая трава. Я начал бродить среди могил, весь дрожа от лихорадки и пережитого волнения... Боль в ноге усилилась, ныло плечо... Я уже отчаялся и хотел искать выхода, когда вдруг услышал сдавленные рыдания. Прислушался и пошел по направлению звуков... Вскоре я мог уже различить его фигуру... Он лежал, содрогаясь рыданиями, на большой могильной плите... Я подошел поближе... Жалкий старик, схватившись обеими руками за голову, припав лицом к старому, покрытому мохом камню, рыдал в последнем отчаянии.

Я подошел вплотную к могильной плите, и кровь застыла у меня в жилах. Посредине плиты был вырезан на камне круглый медальон... Это был удивительный по искусству барельеф, изображавший женский профиль... Я затрясся всем своим существом — это был портрет той, которая еще так недавно рождалась в клубах табачного дыма и исчезала на перекрестках московских улиц. Я понял все и упал без чувств.

Утром батюшка разыскал меня почти бездыханного среди могил Новодевичья монастыря, около плиты, все подписи которой и барельеф были изрублены и уничтожены тут же валявшимся топором... около плиты рос большой старый вяз, на суку которого висел, качаясь от ветра, повесившийся старик.

И сколько он не сто...

Верочка требует, чтобы я сжег все эти бумажки и забыл своего старика и Юлию... Подчиняюсь тебе, моя славная девочка, моя женушка, и в руки твои отдаю вместе с тетрадью этой и всю мою будущую жизнь.

